

Б.Иванов

ПОХОРОНЫ ВО ВТОРНИК

Григорьев поднимается по лестнице, цепляясь за перила. Обмокшие поля шляпы мешают видеть далее трех ступенек и поэтому лестница кажется ему восходящей в бесконечность. "Согласен, — шепчет он, — все это можно понять. Меня же понимают. Иван Евгеньевич, например: "у вас просто невроз. Есть хорошие современные средства." ... Не выдержал. Давно знал: сорвусь... Как же это я. Плохо...

Может быть и вправду, сходить в клинику, к знаменитому врачу. Сказать: "Я очень нервный. Увижу старушку с накрашенными губами — и не могу... Все не могу. Сделайте меня ненервным человеком, как заводской вахтер!" Стоял бы тогда в проходной — брезентовая кабура на боку, — и чай бы пил с баранком. Прийти прямо с вахтером: "Вот таким хочу стать. Пусть с бородавкой — ничего! Сделайте! Ну, пожалуйста..."

И Ракса Оскаровна понимает: "Вам нужна, Петя, женщина, хорошая женщина..."

Григорьев приостановился, смеется, трогая нос, и идет дальше.

Он совершенно вымотался в последнее время. Как-то все не чувствовал, по отделам бегал: "Уплотнители готовы?" И еще: "Кто пойдет в цирк?" — распространял билеты. — "Замечательные медведи!" Иногда говорил: "Замечательный Филатов!" Работать оставался вечерами, тогда за пульманом можно было курить. В дрожащем света люминисцентных ламп схема автомата регулирования приобретала странный многозначительный смысл. Автомат должен был включаться, когда вал турбины начинал вращаться с бешеным несбалансированным маховиком. Он спешил, схема возникала сама. Так вырастают цветы, — он только разворачивал их лепестки... Когда чертежи сдал, в

отделе на него посмотрели с подозрительным удивлением, себе же он завоевал лишь тишину..

.. Что-то подгоняло его в последние дни пуще и пуще.. Все труднее было видеть — так быстро скакали пульманы, облака, светофоры, лица — то Иван Евгеньевич, то товарищ Федотов, то вахтер... шнуров, плевки на лестницах, олень на брошке Веры Лапиной, уплотнители, уплотнители... Он задыхался, словно держался за поручень вагона, а вагон шел все быстрее — ноги не успевали, а руку уже не отделить.

Это от того, что он не спал. Белые ночи!.. Шаги...

Всю ночь ходят люди, перекликаются.. Будто ищут что.

Не спится и чудится: а верно, что-то потеряно. Или ищут то, чего нет?..

И он стал думать ночами о том, что потеряно, или о том, чего нет. И понял, что это довольно протяженное, двойное — это ощущение. Вчера стал чертить, потом рассматривал это довольно протяженное... Наверно, это было оно. Что все ищут. Но он не знал его имени. А имя должно быть. Без имени все — нуль, произвол. Но имя — это уж слишком, это — вскок бессонницы. Он разорвал ватман и на кухне еле записывал куски бумаги в коллективное помойное ведро...

— Где же мой ключ?... Тут..

Сегодня задержался на обед. Заказчики шупали установку, как лошадь. Он курил их папиросы и убеждал, что лошадь не лягается. К столовой прибежал: "ЗАКРЫТО". "Не успеваю, не успеваю". Стучал в стеклянную дверь и чуть не всхлипнул, — и не стыдно бы было: большой уж, но один. Один! Но тут пустили: выходит товарищ Федотов. Федотову обрадовался, — после апоморфина старый конструктор пьет только кефир. "Вы еще не взяли у меня билеты в цирк? Замечательные медведи... Я хотел сказать медведи, то есть Филатов..." Но Федотов все равно обиделся.

После апоморфина все становятся обидчивыми.

И после обеда спешил.

Иван Евгеньевич: — Петя, свяжитесь с Москвой. Они за-
фондируют нам сталь ~~XXXX~~^{415/135} или нет?

Лапина: — Ты не бабыл: сегодня третья ~~августа~~^{июля}! И по-

смотри, петушок, у меня вместо зажима какая-то задвижка вышла...

И Иван Евгеньевич ему улыбался, и Вера Лапшина, и зав-культсектором Лупатин: — Нуес, как с билетиками?

Вере Лапшиной эскиз чертил на суперобложке книги.

— Алло! Алло! Москву... Москва! Это вы, товарищ Почечуев? Товарищ Почечуев, знаете, что сейчас нас больше всего беспокоит — сталь ~~железо~~ ИЛН 35...

— Расходятся, Коля, слава богу, билеты...

Все покинули его, КБ опустело. И он пробежал по шевкам, окуркам, мимо вахтера, его натюрморта: алюминиевая кружка и баранка.

Магазины работают до семи.

Браслеты. Бюстгалтеры. Плюшевые мишки. Сумочки. Чернильницы. Часы. Альбомы...

Бюсты великих композиторов.

Бюсты великих писателей.

Бюсты великих ученых.

И так два часа: улицы, магазины. Что купить Лапшиной в день рождения? Чернильной кистью на небе выведено: — ЧТО? ..

— Сумочку — банально, часы — купечество, мишку — сентиментально, бюстгалтер — грязно, альбом — мещанство... Григорьев обезумел среди вещей.

В последнем магазине уборщица мыла пол под его ногами. Он купил бюст Авиценны. Вышел — и опустил его в урну.

Домой пробирался ошупью.

У себя в комнате, в ^{нише} ~~камин~~ и шляпе, Григорьев ложится на диван. Ветер треплет занавеску, шелестят листья фикуса. Уличный свет падает на потолок. Это можно было бы назвать: вечер в аквариуме, он — рыба, лежащая на дне. Закрыв глаза.

— Вы думаете, я ничего не соображаю, — не знаю, кто в какую сторону ползет! Медвефеди проклятые!

Григорьев тихо смеется, потирая с усилием глаза.

— Кря-кря, глупые утки. И плывут. Фигушки с маслом, селезень-то переодетый, подсадной... Я не слеп.

Вскакивает, не включая света бегаёт по ковру с зажжённой папиросой. Разбросаны ^{мелкие} предметы, шляпа, шарф. Попался стул — стул отлетает в сторону. Узкая комната с красным ковром была похожа на корт для фехтования. Мысли извергаются молниеносно. Они виделись ему остроумной шпагой. Шпага проходила пространство — и на ковер падали, падали...

Противники делали обманные движения, юлили, соглашались на мировую, — но он не щадил никого. Комната наполнялась трупам. Он ходил поверху их и, казалось, его голова вот-вот заденет люстру.

Иван Евгеньевич, его шеф, вышел на дорожку почему-то не со шпагой, а с теннисной ракеткой.

— Я наблюдал за вами, Петя, — сказал он. — Вы — Дон Кихот. А, между прочим, не боги горшки обжигают.

— Вы — пошляк, Иван Евгеньевич. Не слишком ли фатально вы привязаны к мыслям о горшках! Вы были моим кумиром, но позвольте вас п е р е и з б р а т ы !!!

Какие-то люди набивались в комнату и кричали порознь и хором:

— Вы должны быть полезным, Григорьев!

— Я не трава для антилоп! — бросался Григорьев на пришельцев. — Не фаршированная треска! Не бифштекс. Болды! — как говорят узбеки.

Потом из комнаты было слышно:

— Шоколадники!

— Мудрецы спячки!

— Бандиты-эрудиты!

— Миокардитчики!

Человеку с тройным профилем Григорьев отвесил реверанс. Даже растерялся понарошному.

— При некоторых обстоятельствах, — говорили профили в конце ковра аккордом, — нам выгодно, Григорьев, представить мир в виде антогонистических начал. Так думали многие, — так думаем мы. Такое представление о мире нам помогает решить некоторые теоретические проблемы и находится в состоянии постоянной и осознанной боевитости...

— Но как вы смели! Без спроса... Хотя бы написали письмо: так-то и так, позвольте вас включить в формулу, а то

ничего не получается... Будем корректными, будем фехтовать по науке. Вас мы поставим в числитель — как-никак вас почему-то трое, — пожалуйста, займите свое место в числителе. А я пошщу свое — в знаменателе. А теперь с о к р а т и м с я! Нас вполне можно сократить. Я, говорят, многообещающий специалист, хотят доверить группу с повышением зарплаты. Разве это ничего не стоит! Могу представить характеристику. Сотрудники тоже отзовутся хорошо: не обижая и необходим. Сократимся!...

С гражданином в поезде он возиться не стал, вспомнил только его портфель: женская сорочка, вареная курица, философский словарь — все было в целлофановых оберточках. Проткнул его шпатель так, что она вонзилась в книжный шкаф. — Книжки! Книжечки! — Григорьев стал вынимать книги с полки и начинал читать с первой попавшейся фразы.

"Подтягивайся, подтягивайся, собачья морда, — кричал ему унтер-офицер..."

Дальше!

"Я ничего не мог ни возразить, ни объяснить..."

"Во всех явлениях ощущение или реальное, соответствующее ему в предмете, имеет интенсивную величину..."

"Применение быстродействующих зажимных приспособлений..."

"Подавляющее большинство неосложненных язвенных болезней..."

Григорьев читал громко, с выражением. Он играл честно. Прочитывал и волушивался в себя — и ничего не отзывалось в нем. Он выпускал книги из рук, они падали на пол. Они тоже становились прахом, от которого ему трудно было дышать.

— А что ты скажешь, — забыв про книгу, обратился Григорьев к приемнику. Повернул выключатель. Из глубин потрескиваний рыбой выплыл остервенелый вой. Григорьев захохотал.

— Вот это правда! — Выключил приемник, похлопал его по лаковой крышке. Этому дикарю можно было доверять.

Однако, вой продолжался в нем. Он прижал ладони к вискам, затряс головой. Металлическое насекомое не вылезало. Тогда он запел: "Эх вы сени, мои сени", потом — "Смейся,

паяц!", потом — "Бывали дни веселые", потом — "Невольно к этим грустным берегам..."

Глаза его скользили по окнам, картинкам, обоям. Он подражал великим певцам, — пел, как Шаляпин и Собинов. Все было доступно ему. Он слышал оркестр и видел палочку дирижера...

Григорьев очнулся на ковре. За окнами было темно. Как очутился здесь, он не помнил. Вдыхал запах пыли. Шерсть ковра колола щеку, как щетина чужого лица. Мертвая тишина окружала его. Тишина, покой, усталость остановились в нем. Неожиданно и спокойно догадался о том маленьком ходе, о котором он почему-то забыл, хотя в теории игр этот ход был не нов и достаточно разработан. Он передвигает фигуру чуть-чуть, на одну клетку — и часы будут остановлены. Они раскланяются. Руку можно не пожимать.

Приподнялся на колени; ковер еще притягивал его, все-таки встал и долго отдыхал от усилий на стуле. В дверь постучали.

— Петя, вас к телефону. Он не откликнулся, ожидая, когда соседка уйдет, но она, наверно, знала, что Григорьев дома, и продолжала стучать и звать.

Коридор-длинный. Это было целое путешествие. За это время он успел обдумать, если не очень важную, но все же весьма существенную деталь. Оказалось, что он не хотел становиться вахтером, даже если к нему не переходила вахтерская бородавка.

Эта мысль провела вокруг отчетливую черту и, видимо, поэтому голос Веры Лапшиной донесся к нему, как с далекого берега. Никто не мог теперь переправиться к нему, он же своим необитаемым местом оставался доволен. Однако, он не мог запретить кричать ему с того берега и уговаривать вернуться.

— Петенька, чего же ты! Все ждут тебя... Ты, конечно, придешь? Народу — уйма... Михаил Васильевич — очень остроумный дядька...

Лапшина делала паузы, давала ему возможность вступить в диалог. Но он не воспользовался многоточиями, продолжал молча слушать, потому что не понимал больше, что значит, например, "уйма народу", или "Михаил Васильевич — очень остроумный дядька". Не понимает и понимать не хочет. Теперь, когда он вспомнил о достаточно разработанном ходе, уже не трудно было решить другую, пустяковую задачу: сделать так, чтобы с другого берега его больше не звали. Надо законспирироваться, взять другую фамилию, наклеить бороду, изменить походку...

— Что же ты молчишь? — звал голос оттуда, — вызови такси...

Н
— Пети нет дома, — наконец произнес он.

— Петя, ты шутишь? Я узнаю твой голос. С чего тебе вздумалось кокетничать? Серьезно: мне очень хотелось бы тебя видеть.

— Пети нет дома, — упрямо повторил Григорьев на этот раз фистулой.

— Вы правду говорите? Тогда передайте ему, что на него я страшно обижена, я не прощу ему этого.

— Хорошо, передам. — Он повторил Верину фразу, чтобы проверить, так ли ее передать: "Вы на него страшно обижены и не простите ему этого..."

— Этого:::, — подтвердила девушка. — Спасибо, п е т и н д р у г.

Григорьев повесил трубку. "Нет, — подумал он, — для этого мира я больше не Петя, — тем более не Петенька. Будем объясняться по фамилиям: товарищ Федотов, товарищ Масолов, товарищ Лапшина... Товарищ Федотов, извините за медвефедей, если возможно извиниться за нечто нереальное. Медвефедей — это, как вам сказать, некие звери из двух половинок. Такие сфинксы возлежащие, понимаете! Их очень интересует, есть ли люди на Марсе. Стоит ли раздражаться на подобный абсурд?... Адью.

Он вернулся в комнату и закрылся на ключ. Разговаривая с Федотовым, он одновременно обдумывал технологию маленького хода. Техника оказалась настолько простой, что он удивился. Стало обидно и стыдно за себя и других — человечество,

которое, как пишут, только и занимается тем, что ищет какие-то выходы, — а выход так прост, безошибочен и не требует ничего такого: ума, силы, благородства, реквиемов. Так просто не могло быть. Усомнился и стал думать.

Снова стучала соседка и звала его к телефону. Потом стучал, по-видимому, мужчина. Григорьев был слишком занят, чтобы как-то реагировать на это. "Эврика!" — сказал он вполголоса. — Ну, конечно, я все чрезмерно упростил. /Продолжай говорить фистулой/" Хорошим чужим голосом он сказал:

— Все дело в послании! Это сразу не поймешь. Попробуй отделаться: "В смерти прошу никого не винить", а про себя: "сволочи, сволочи все". И опять-таки: да, они виновны, но про себя ведь знаешь, что рыбу ел со всеми. А без послания глупо. Это каждый понимает. Что он, насекомое — человек: сел на огонь — фырк! Человек не может поступить так незнательно, без содействия тому же роду человеческому. За дурачка примут: "Я говорил ему — невроз.". "Я говорила — ему нужна хорошая женщина." — Так в чем же дело! — улыбнулся Григорьев, — в принципе я согласен. Постараюсь подействовать. Под чертежами я привык ставить подпись. Будет и дата... Негодяи!

Он выкинул из ящика на стол тетрадку, и в середине ее, чтобы потом вырвать средний лист, быстро написал: "Уважаемый тов. Мосолов!" . Он не смог продолжить фразу, тряслись руки. Чувствовал, стол, занавески, книги, потолок... — все закружится сейчас каруселью. Напрягся — и тот вагон, который волочил его ^{в послании} ~~и~~ дни, вдруг остановился. Перевел с осторожностью глаза на окна, — на улице шумели машины, шаркала тысячоножка толпы, отдохнул. Ему было жаль свои обидчивые руки. Лицезрение их успокоило его, он знал — это хорошие руки.

"Я занимаюсь, Иван Евгеньевич, сейчас одной проблемой. Извините, не технической, а, так сказать, вольной, но учитите, в нерабочее время. Предвижу, скажете: "критиканство", когда прочтете до конца и "что стоит обвинение, не имеющее юридической ^{доказательности} ~~доказательности~~". Но что делать? Яблоко падает — и как тут не удержаться и не размыслить: с чего оно! Ведь висело и вроде неплохо ему было: солнце светило, дождики

поливали, не мало государственных средств затрачено на то, чтобы Петя Григорьев с портфельчиком в институт ходил. А вот не удержалось. Оказывается, существует закон всемирного тяготения, без него и плюнуть на тротуар не удастся...

Яблоко сейчас только вознамерилось упасть, и поскольку яблоко — это я / "упасть" — довольно легкая аллегория, и поскольку просто так упасть оно не может, ^{я ре-}
^{сам} ^{как-то} ~~шлях падает~~ /вопросы. Я спрашиваю: "А Иван Евгеньевич ви-
новен? Имеет ли он касание к закону всемирного тяготения? Не чувствовал ли я, как Иван Евгеньевич колеблет яблоню? Нет ли у Ивана Евгеньевича, кандидата технических наук, театра, обладателя чудесной "волги", невинной привычки трясти яблоню?..

Вы, как говорят, человек культурного круга, на меня — тощего выпускника института — произвели впечатление сразу — и Ваша белоснежная рубашка и "шипр". И не только этим. Вы знаете, что есть Данте, если покупать сыр, то швейцарский, белуга водится в низовьях Волги, а Эйнштейн сказал, что "бог — газообразное животное". Вы ~~еще~~ знаете, это я говорю без ядовитости, о чертов стул. С Вами приятно поговорить, следовать Вам — одно удовольствие. Я тоже стал носить белоснежные рубашки, а в парикмахерской требовал только "шипр". Никогда у меня не появлялось сомнений в Вашем праве быть начальником: вот, мол, я лучше ~~и~~ умею обводить вокруг пальца заказчиков, тоньше чувствую итальянские фильмы, остроумнее рассказываю анекдоты, — и такой-сякой обязан подчиняться. Вы подлинный начальник. Я бы написал директору завода, какой Вы хороший начальник и какой Вы его замечательный подчиненный. Я написал бы это, если бы мог Вам этим подн-
грать.

Нет, нет, я в этом не сомневаюсь, я думаю о другом — о Вашей воспитанности и о Вашей культуре. Не кажется ли Вам, что Ваша культура и Ваша воспитанность, дорогой шеф, заключается в одном слове? Это слово я назову: "п о ж а -
л у й с т а". Я не думаю, что "пожалуйста" легко выговорить, если произносить его никто не требует, а произносится лишь по одному доброму желанию и вполне прочувствованно: "Дайте, пожалуйста!". "Сделайте, пожалуйста", "Пожалуйста без

Теперь он не человек — заяц, затачивающий Вам карандаши. Говорят, что Вы нечестно поступили с предшественником, стариком Кулагиним. А почему бы и нет?

Вы — отличный психолог. Нет, не с каждым будете говорить о Данте. Вы сразу определили, как держаться надо со мной. Вы называли меня Петей. — и это "Петя" пристало ко мне в отделе, как кличка собаки. И второе: "Вы талантливый инженер". И я сразу догадался, что талантливому человеку полагается прыгать через голову, глотать гусениц и при этом делать счастливое лицо. Я это все делал под Ваши аплодисменты — и прыгал через голову, и глотал гусениц. Но Вы каждый день открывали во мне таланты. У меня оказался дар снабженца и конференсье, я сочинял поздравительные открытки пенсионерам и продавал билеты в цирк. Но я, черт возьми, действительно талантливый инженер, похабно талантливый! В целесообразности конструкций я видел целесообразность мира, во взаимодействии деталей и узлов — гармонию. Талантливый специалист тот и есть, кто загоняет в свое ремесло все, чем он живет, но при этом забывает, что людей конструирует не он. Мальчик зажигает коробок — и представляет, что горит дом. Когда загорается дом, он уже не может думать, что горит коробок. Я чувствую запах пожара. Вокруг пахнет горькой гарью: я чувствительный человек...

Кому я это говорю? Проклятая фантазия! Запах шипра мне мешает улавливать запах тления. Я хочу Вам сказать, что Вы бездарны. Ваши конструкторские идеи всегда отдавали средневековым хамством. Когда я увидел Вашу щетку для очистки бункеров, — я захохотал. Тогда-то я увидел связь ее с Вашими ушами и бровями и остановил кадр. Вы с нею возились еще год. А я знал, что ее место в музее палеонтологии. Но у Вас есть другая специальность, тайная специальность. Вы ничего не понимаете в музыке, но зато хорошо знаете дяцию Моцарта. Ваша истинная специальность — трясти яблони. Вы — браконьер в словаческом лесу. В любой стране Вы занимались бы только этим. Ваш интернациональный лозунг: "не боги горшки обжигают", — и принуждаете богов обжигать горшки. —

Я радуюсь, что Вам неловко будет — во всяком случае в первое время — говорить "пожалуйста", я доволен своими

изысканиями в области земного притяжения.

Р.: Стать-115 не фондируют. Главку я бы предложил заменить эту статью упомянутым рогом."

Григорьев поставил красивую завитушку, вырвал лист из тетради и на следующем написал:

"Товарищ Лапшина, это не я, то есть не Петенька, отвечал Вам по телефону. Вы позвонили поздно, меня дома уже не было. Если бы Петенька был дома, он не стал бы говорить другим голосом. В этом разобратся не успею: кто с Вами говорил, но, во всяком случае, Петеньки, который волновался, повязывая, собираясь на свидание, галстук и клал в карман десятку — такого Петеньки больше нет, но я знаю: он был, действительно, "хороший мальчик". . . .

Представляете, он даже стыдился до времени разглядеть Ваши ножки. Он видел, что другие, менее воспитанные молодые люди, разглядывают и иногда издают свист суслика, но сам с сусликом-таксоном не был. Поэтому, когда Вы говорили по телефону, что хотите его видеть, он подумал, что сам-то он товарища по работе Лапшину увидеть не посмеет. Ему останется только доверять свисткам сусликов и потенциальной теще, которая говорит о своей дочке так, как будто сама еще надеется сделать ей предложение. . . .

Петеньке очень трудно сейчас представить Вас. Конечно, он помнит прыгающего оленя на Вашей брошке, и замечание: "Михаил Васильевич — остроумный дядька". Но это так ничтожно, что он сомневается в существовании Верочки Лапшиной. Он говорит себе: я любил миф о сотруднике из отдела, я его сам создал, и когда захочу, могу кокнуть. Любить — и быть одиноким — не забавно ли это? Писать стихи с объяснениями себе — не идиотизм ли? И Петеньки не стало; воздух вышел — шарика нет. Можно обижаться на шарик, страдающий недержанием воздуха, но когда шарик двадцать семь — очень трудно держать воздух, накаченный в детстве и юности. И стыдно как-то. Морщина на лбу — это и есть признак спущенного воздуха. Морщину Вы наблюдательно как-то заметили, а Петенька заметил, что не стало воздуха.

"Простите, простите", — говорил я с утра-сегодня всем. Я не знал, что вечером скажу: "Прощайте, Прощайте!" товарищ

Лапшина, великая женщина! Я понял, что Вы великая женщина, когда ~~возникла~~ Вам ~~идея~~ ^{сделать} подарок. ~~Итак, я решил подарить Вам~~. Я понял, потребительскими товарами страны не выразить тех чувств, которые Вы способны возбудить в мужчине. Катастрофа угрожает ^{нам} мужчинам, катастрофа угрожает стране..."

— А, — вскричал Григорьев обрадованно, — Пелагея Марковна! Как это я Вас забыл! — такого замечательного человека.

Сидение за столом утомило Григорьева, он соскочил со стула. Окруженный табачным дымом, театрально воздел руки.

Он созерцал Пелагею Марковну, свою любимую учительницу. Она явилась кстати. — "Ну как же, как же! Наставник детства, образец. — У меня есть прекрасная возможность отблагодарить Вас! Испытал, как говорится, влияние. Ваш моральный подвиг питал меня."

Он отшвырнул окурок на ковер и снова сел за стол. На этот раз он стал писать не автоматической ручкой, — из стаканчика вынул обгрызанную ученическую вставочку. "Здравствуйте, дорогая Пелагея Марковна", — Григорьев вывел с нажимом. Его рассмешил собственный указательный палец. Он напомнил ему слабенькие пальчики девочек в первом классе. Старательно нажимая на ручки, они гнулись так, что смотреть было больно.

"Пишет Вам ученик Петя Григорьев. Я не тот Григорьев, который украл в раздевалке галоши, и не тот, у которого отец по субботам был всех подряд — и мать свою, и жену, и сына. Нет, уважаемая Пелагея Марковна, Вам пишет Григорьев, который галоши не крал, отец у него был тихий приличный химик. Он был так вежлив, что когда за ним пришли, он все пытался пропустить товарищей вперед, они же предпочитали идти сзади. Я — Григорьев, неужели не помните, который писал стихи. Ну как же!

Зеленый лес, любимый лес,
Лес, полный птиц, цветов, чудес...

...Это я написал в четвертом классе. А когда стал постарше, показывал такое стихотворение:

Наша жизнь — сражение!

Наша жизнь — полет!
Наша жизнь — движение!
Все вперед, вперед!

Вы сказали: "Мне очень нравится. Вы развиваетесь, Петя. Появился мужественный пафос". Все Ваши похвалы я помню наизусть. Теперь я понимаю, что вообще никогда не писал бы стихи, если бы у меня не было такой замечательной учительницы.

Вы были дамой моего сердца. Это не преувеличение. Так оно и было. Вы были моей первой любовью. Не кажется ли Вам это ненормальным: бедному рыцарю четырнадцать, а даме сорек, — даже извращенное: мальчик страдал, что у девочек его класса нет такой плоской груди, голоса, такого подходящего для умиляющего вещания. О, какая чудовищная любовница была в моей юности!

Фрейд — обманщик! Он убеждает, что мужчины осуждены любить в других женщинах только тень своей матери. Я же, например, мучился, отыскивая повторения Вас. И не нашел. Их не было... И стал придумывать. У меня была отличная школа придумывания, это стало потом даже моей профессией: днем я придумывал машину, вечером — женщину... Почему Вы мне вовремя не сказали: "Григорьев, тебе пора знать, что в лесу цветы не растут — и настоять на том, чтобы двойки были выставлены одновременно и по ботанике и по географии, — и все непременно завершить грандиозным школьным собранием с повесткой дня "Знать свою родину!" Ведь Вы знали, или обязаны были знать такие мелочи, — как учитель, как взрослый уже человек. Вы посчитали, что в лесу цветы — красиво. Вы морочили головы стриженных учеников, потом ученики стали морочить себя.

Есть любители стоять в трамвае — и любители тухлых яиц. Есть люди, утешающие себя, увидев раздавленного человека, статистикой, теорией вероятности или виной раздавленного перед машиной: не соблюдая правила игры с машинами, — но это их личное дело. И Ваше личное дело — любить высокое и прекрасное, и верить в цветы в лесу и пальмы на болотах. И домашнее дело. Но Вы приходили в класс, говорили: "Здоровствуйте, дети" и вещали о том мире, который желали видеть. Ваши близорукие глаза. О, как мстительно наказывали Вы того,

— Итак, синьоры, геноссе и генацвали, что мы имеем на сегодняшний день... Тише, тише! Не заставляйте меня бросать цветочные горшки. Приглядитесь, товарищи! Пусть все убедится: что есть-налицо и подведем черту.

Налицо — бомба и консервы...

Я знаю: земля остывает и образовался пояс Арона Виланда. Битва при Иссе ^{состоялась} в 423-году до рождества Христова. У одуванчика 28 тычинок. Кошка живет восемь лет. Длина кишек в три раза больше нашего роста...

На тротуаре перед домом росла толпа. Люди мешали машинам. Кто-то закричал ему с панели. Григорьев встал на подоконник и бросил сорванную занавеску вниз. Она опускалась на асфальтовое дно, подобно медузе. В окнах дома напротив белели лица. Григорьеву казалось, что он плывет. Руки прижал к груди.

— Я знаю все: бросьте в землю мысль — взойдут колючки "во-первых... во вторых..."

Бросьте в землю танцы-романсы — поднимут головки наивные цветы. "Как хороши, как свежи были розы..." Вот это взойдет, но даже без слов — один запах. Химики подделывают запахи, носы подделываются под химию.

Брось в землю пользу. — взойдут дураки и постное масло. Дядя Лева просунет в бороду овсяную кашу... Ну и что?

Можно отодвинуть сыр на кончик хлеба, тогда есть хлеб значит двигаться к мечте человечества.

— Плюб, плюб на всех! — кричат другие, и находятся, плюют. И вырастает там, где на все плюют, жалкое пискливое одиночество.

Что же вам нужно, медвефедям? Чего же вы, существа, лишённые бессмертия, мучаете друг друга! У вас больше нет великого обмана: Бога, но вы придумали страх. Страх перед жизнью, страх перед смертью.

Вы забнете в этом мире. Вам не хватает любви и человечности. Но вы готовы уничтожить каждого, кто более не может быть таким трусом и крохобором как вы.

Катитесь к черту — в тартарары! > Сегодня я гладили в автобусе ваши головы: седые, крашеные, курчавые и пустынные,

и увидел вашу неизлечимость. Я говорил: "Милые, я люблю вас."
- Дайте ему по хारे! " - кричали седые. - "Сядь на нас смеется!" -
вопили крашенные. - "Хулиган! Дурак!..."

... На улице росла толпа. Мальчишки свистели. В дверь бара-
банили и кричали. Правыла пожарная машина.

... - О, я совсем забыл пригласить их на прощанье! - Гри-
горьев соскочил с подоконника: в комнату и на каждом
конверте написал: "Похороны будут во вторник".

Замок не выдержал, - дверь распахнулась. Пожарники, ми-
лиционер, человек в белом халате, за ним вслед соседи всту-
пили в комнату. Григорьев метнулся на подоконник. Внизу ко-
лыхалась огромная толпа. Теперь улица остановилась. Он улав-
ливал дыхание сотен ртов. Будто заводили ^{от словечек} сеть - над тротуа-
ром натягивали брезент.

- Гражданин, успокойтесь, - сказал пожарник, приближая
к нему руки в рукавицах.

... - Больной, слушайте меня! - скомандовал человек в белом
халате, расправляя веревку.

- Петя, что ты делаешь! - заплакала соседка.

... Григорьев слышал в этих призывах одно: "Сдавайся! Сда-
вайся!" Он видел армию, со знаменами и оружием, но армию
без мужества, армию, сдающуюся в плен. Он прислушивался к
ропоту этих нескончаемых рядов. Он видел солидарность тону-
щих. Ни о чем не вспомнил, ни о чем не пожалел. Свет, крас-
ки, слова, лица - все растеклось бессмысленной и неодушевлен-
ной плазмой. И в этом мраке он пошел по карнизу.

- Ай! - разнесся страх по толпе.

... - Живее! - крикнул пожарник-майор, но пожарники с бре-
зентом запутались. Они не успели растянуть его там, где
Григорьев остановился и прынул вверх.

... Одни бежали от того места, другие лезли туда, на пя-
точек асфальта, где лежал он. Ноги в туфлях, ботинках, бо-
тах упирались. Сирена скорой помощи извещала о катастрофе.
На тротуаре в чужих руках плакала женщина.

... Его мозг еще работал. Имя тому протяжному, двойному,
похожему... было...